
In memoriam

ЛИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРА

Беседа Эмила Димитрова с Вячеславом Вс. Ивановым

Аннотация. В никогда не публиковавшейся ранее беседе известного болгарского филолога и философа Э. Димитрова с Вяч. Ивановым идет речь о фундаментальных вопросах филологии — таких как славянская культура, развитие языка, художественный перевод и т. д. Беседа представляет собой живой и увлекательный комментарий к программным исследованиям Вяч. Иванова.

Ключевые слова: Вяч. Вс. Иванов, М. Бахтин, русская филология, Московско-тартуская школа, русский формализм, славянская культура.

С Вячеславом Всеволодовичем Ивановым (1929—2017) я познакомился в начале августа 1991 года в его ка-

Эмил ДИМИТРОВ, доктор филологических наук, доцент Института литературы Болгарской академии наук (София). Основатель и президент Болгарского общества Достоевского (2011), член International Dostoevsky Society, главный редактор альманаха «Достоевский: мысль и образ» (София, 2014—2016). Автор свыше 300 работ, в том числе четырех монографий, главная из которых — «Память, юбилей, канон. Введение в социологию болгарской литературы» (2012), статей по истории русской литературы (преимущественно о творчестве Ф. Достоевского) и философии (А. Лосев и др.), архивно-документальных публикаций. Email: edimitrov@gbg.bg.

бинете директора (1989—1993) авторитетной ВГБИЛ им. М. Рудомино, известной в народе как Иностранка; я был представлен ему известным литературоведом и библиографом Н. Котрелевым, который в 1980—1988 годах заведовал Отделом редкой книги в той же самой библиотеке. Речь шла скорее о ритуальном жесте — об обмене доброжелательными словами и о получении своеобразного «благословения», — чем об общении в точном смысле слова: на это просто не было времени, да и конкретная ситуация его не предусматривала. В том же августе 1991-го Библиотека иностранной литературы была организатором нескольких престижных международных форумов, на которых я тоже встречал знаменитого ученого.

Напомню читателю, что 19 августа 1991 года в России произошел путч. Как известно, подобные события, кроме всего прочего, являются «пробой» характеров, стойкости убеждений, да и обыкновенной человеческой порядочности. В эти три дня (19—21 августа) Вячеслав Всеволодович превратил библиотеку в один из центров интеллектуального сопротивления — там нелегально (с точки зрения печально известного ГКЧП) печатались газеты, воззвания и др. Ученый остался верен своим демократическим убеждениям до своего последнего мгновения.

В конце насыщенного событиями месяца, 25 августа 1991 года, мы неожиданно пересеклись в Переделкине у С. Аверинцева: Вячеслав Всеволодович вошел в комнату на даче в тот самый момент, когда мы с Сергеем Сергеевичем заканчивали запись его монолога «По правде говоря...»¹. Напомню, что в это время Вяч. Иванов и С. Аверинцев были депутатами, членами так называемой межрегиональной группы А. Сахарова.

Августовские встречи 1991 года были мимолетными, а через год Вяч. Иванов уехал преподавать в Лос-Анджелес, поэтому мне казалось, что о встрече в будущем не может быть и речи. Ровно семь лет спустя, в конце августа 1998 года, однако, наши пути снова пересеклись в Моск-

¹ См.: [MESEMBRIA... 40—46].

ве. Новая встреча стала возможна благодаря Татьяне Владимировне Цивьян, которая не только совершенно точно ориентировала меня в напряженных московских буднях Вячеслава Всеволодовича, но и привела меня на его лекции в МГУ, где он руководил созданным в 1992 году при философском факультете Институтом мировой культуры. К моему удивлению, оказалось, что Вячеслав Всеволодович меня помнит; он быстро и охотно согласился на встречу и беседу. Его постоянная сверхзанятость усугублялась еще и ограниченным сроком пребывания в Москве, поэтому ему удалось принять меня в своей квартире на Олимпийском проспекте только накануне отъезда в Америку: мы действительно разговаривали «перед дорогой», среди приготовленных чемоданов.

Здесь, наверное, нужно пояснить, что в 1998 году, то есть ко времени встречи с Ивановым, у меня уже сложилась идея будущей книги «русских бесед», которую удалось реализовать намного позже². Попутно замечу, что наличие этого замысла видно в самом тексте беседы: как читатель может убедиться ниже, один из вопросов касался В. Топорова. По идее я должен был встретиться и беседовать и с ним, а в разговоре хотел задать ему аналогичный вопрос о Вяч. Вс. Иванове. Таким образом мне бы хотелось и в этом цикле бесед связать двух великих ученых, которые часто выступали вместе, опубликовав ряд работ в соавторстве. Подобный диалогический «диптих» мне удалось реализовать с М. Гаспаровым и С. Аверинцевым³, но здесь мне просто не повезло, встреча с В. Топоровым так и не состоялась.

Как и при других беседах, у меня не было готового набора вопросов, а лишь формулировка темы разговора, которая сообщалась собеседнику или предварительно, или в самом начале беседы. Как правило, я стремился всего в двух словах синтезировать, насколько это возможно, основное содержание беседы, которое зависит, конечно, от

² См.: [Димитров 2016].

³ См.: [Димитров 2017].

специальности и квалификации собеседника, а также от широты его взглядов, от его мировоззрения. После первого вопроса разговор с Ивановым развивался естественно, а вопросы возникали самим собой; в результате беседа, как мне кажется, отличается некоей «воздушностью», особой легкостью. Разумеется, мне, болгарину, очень хотелось именно с ученым — прекрасным знатоком Балкан и древнеславянской культуры — поговорить об «универсалиях» славянской культуры, о ее действительном или мнимом единстве и пр. Получилось так, что именно беседа с Ивановым оказалась в центре всей книги «русских бесед», которая уже готовится к изданию и на русском языке. Как кажется, ее центральное место — вовсе не случайно и с содержательной точки зрения.

Сейчас, когда Вячеслав Всеволодович ушел от нас, мы, его читатели, ученики и собеседники, должны прислушаться к его посланиям.

Лишь будучи личностью, ученый может стать фигурой культуры: вот так, как мне кажется, можно синтезировать смысл беседы, которая ниже публикуется впервые в ее русском оригинале.

...Немедленно после того, как наш разговор был напечатан по-болгарски (с сокращениями) в софийском «Литературном вестнике»⁴, я отправил по почте в Америку своему знаменитому собеседнику несколько экземпляров номера газеты с публикацией. Отклик Вячеслава Всеволодовича был весьма ласковым, но еще более выразительным был его жест: он послал мне с оказией второй том своих «Избранных трудов по семиотике и истории культуры» (2000) с дарственной надписью: «Емилу Димитрову с благодарностью и дружеским приветом, от автора. Вяч. Иванов. 13 апреля 2001, Лос Анджелес».

В конце — нечто любопытное из «кухни» нашей беседы: при расставании, уже стоя в дверях, на пороге, я вдруг спросил знаменитого лингвиста: «Вячеслав Всеволодо-

⁴ См.: [Димитров 2001].

вич, а сколькими языками вы занимались?» — «Многими». — «Как много?» — «Десятки». — «Сколько десятков?» — «Много».

Круг замкнулся.

12 января 2018

— Вячеслав Всеволодович, как сформировалось ваше понятие о культуре, какие источники оказали свое влияние на него?

— Я думаю, что было несколько основных влияний, которые выделили то, что я думаю о культуре. В частности, довольно давно уже на меня сильное впечатление произвели работы психолога Выготского, которым я много занимался. Но в его очень поздно напечатанной лекции (в «Избранных сочинениях» 1883 года) «История и развитие высших физических функций», в основном посвященной истории культур, в которой он рассматривает культуру как систему знаков, культура служит для управления поведения человека. (Я, пожалуй, считаю, что это одно из самых подходящих определений культуры — то есть существенно, во-первых, то, что это знаки, символы, и, во-вторых, то, что они служат для управления человеческим поведением. Иначе говоря, они, знаки культуры, находясь вне человека, согласно Выготскому, потом входят вовнутрь человека.) И в этом смысле культура есть то, что нас всех связывает: так же, как и языки, искусство, наука, другие знаковые системы.

Я довольно рано стал заниматься лингвистикой, в 17—18 лет. Я с вниманием читал книгу великого американского лингвиста Сепира, который был очень крупным культурологом, и сейчас впервые выходит его собрание сочинений в Германии. Но по-русски эти работы недавно вышли в переводе. В его книгах есть следующее определение культуры: «Культура — это производимый обществом ценностный отбор». Я думаю, что это тоже очень хорошее определение, которое я тогда запомнил и как-то обдумывал в себе. Почему любые знаковые системы в некотором отношении похожи на язык? Потому что в них

есть ценность, то есть каждый знак имеет свою стоимость. А ценностный отбор означает, что общество отбрасывает очень многое из того, что ему не нужно. Это очень важные понятия, особенно важные в наш век, потому что сейчас некоторые направления в культуре стараются ничего не отбрасывать, принимать все всеядно. Я думаю, что это очень опасно. Мне кажется, что одна из этих формушек, которая есть в анархическом отношении к культуре, это то, что мы менее строго отбираем; то есть понятие канона или строгих правил отбора в какой-то степени мы считаем аристократическими, свойственными прежним культурам. Вот, пожалуй, это главные источники, которые привели к тому понятию культуры, которое мы разрабатывали с Владимиром Николаевичем Топоровым, да и с другими авторами, о которых часто говорят как о Московско-тартуской школе.

Вы знаете, мы Тартуская школа в том смысле, что в Москве нас запрещали и Юрий Михайлович Лотман, с которым мы дружили, предложил нам использовать его издания и ездить на его конференции. В большой степени это была совместная оборона от советской власти. География тут не при чем, а скорее личность Лотмана. Потом его тоже стали немножко ущемлять, так что этот период «тартуской» свободы был недолгий. Но кое-что нам удалось, и мы развили некоторые идеи, касающиеся культуры. Что, мне кажется, очень ценное у Лотмана, — это то, что он понимал культуру каждой данной эпохи как большую совокупность разных систем. Я очень люблю его V главу комментариев к «Онегину», где он описывает культуру России того времени.

Другой пример, который очень давно произвел на меня впечатление. Я очень ценю Густава Шпета — одного из наших очень талантливых философов, погубленного Сталиным в 1938 году... У Шпета есть нечто подобное тому, что сделал Лотман. Когда его уже перестали печатать как философа, он зарабатывал деньги переводами и написал комментарии к «Пиквикскому клубу» Диккенса — это описание Англии того времени. Точно как у Лотмана для «Онегина»! Я знаю только два таких комментария. Они совершенно особенны, потому что сама идея могла ро-

диться только в XX веке. Для этого надо посмотреть на культуру как бы с высоты птичьего полета. Ее не просто надо знать, но еще понять все ее стороны. Все, что описывает Шпет — там у него описание транспорта в Англии Диккенса, права человека в Англии этого времени и т. д., — он описывает как некоторую экзотику. Старую Европу он хорошо знает, но знает уже как ученый.

— Известны генетические связи Московско-тартуской школы с русским формализмом 1920-х годов. В свое время вы беседовали лично со Шкловским, с Проппом. Какую роль сыграло личное общение с ними при формировании ваших взглядов? Какова была ваша личная мотивация пойти в «ту сторону» — то ли, что вы занимались лингвистикой, или были еще какие-то причины?

— Что касается формалистов, в особенности Шкловского и Тынянова, здесь сыграл большую роль мой отец — писатель Всеволод Иванов, потому что он был близким другом Шкловского и Тынянова еще с того времени, как приехал из Сибири в Петроград в конце Гражданской войны и вошел в образовавшуюся группу писателей «Серапионовы братья», где состоял мой отец. Шкловский и Тынянов не были формальными ее членами, но они были очень близки. Они каждую неделю встречались и участвовали в этих встречах, и отец мне еще в детстве рассказывал о них, то есть некоторый интерес к их личностям пробудился еще до моих научных занятий.

Шкловский вообще был свой человек в доме. Я дружил с его детьми. Потом мы жили даже на одной лестнице. Шкловский кончал работать и сам с собой очень громко разговаривал. И обычно, проходя мимо нас, нажимал кнопку. Он, как и мой отец, был большой любитель книг. У него и отца были огромные собрания книг, в частности они собирали XVIII век. Обычно после работы Шкловский заходил и брал какую-нибудь отцовскую книгу. Если отца не было, я считался как бы библиотекарем и помогал найти то, что нужно, так что мы со Шкловским очень много общались. Когда я сам стал заниматься формальным анализом на первом курсе университета, то я имел воз-

можность дать ему свою работу. В. Виноградов тоже смотрел эту работу, и мой университетский учитель Пospelов, который тоже был очень интересный лингвист.

Тынянова я видел только один раз. Он уже был очень болен, но тоже произвел на меня сильное впечатление. А что касается мотивов... Главное было то, что я сам писал стихи и немножко прозу, но стихов очень много, и это было мое самое серьезное занятие в последние годы школы перед университетом. Мой отец так мне как бы внушил, что раз занимаешься литературой, надо понимать литературную форму. Мне повезло. Первым моим учителем в университете был Дувакин, очень хороший человек. (Его потом выгоняли по делу Синявского, но мне удалось организовать тогда массу протестов, в результате чего его оставили в университете. Сейчас издают его разговоры с Бахтиным...) Он тоже очень хорошо отнесся к моей первой работе. Я писал о русской поэзии XVIII века. Вообще говоря, когда я шел на филологический факультет, я имел в виду формальное занятие литературоведением. Я занимался языками — с детства говорил по-французски, занимался английским, но думал, что буду продолжать заниматься языками ради занятия литературой. В университете я увидел, однако, что литературоведением можно заниматься только с официальной точки зрения, поэтому я одновременно увлекся лингвистикой. Потом сознательно решил, что придется заниматься только лингвистикой. Если бы не эта ситуация, я бы занимался и лингвистикой, и литературой. Литературой я продолжал заниматься для себя до тех пор, пока не оказалось возможным уже в новых условиях. Ограничение лингвистикой было вызвано обстоятельствами времени.

— *Только что было упомянуто имя Михаила Бахтина. Вас задевала его критика формальных методов? Может быть, расскажете нам о своих встречах?*

— Раньше, когда я встречался с Бахтиным, нам казалось, что это очень серьезный философский подход к литературе. Да и сами формалисты, умные формалисты, как Тынянов, понимали, что формализм — это только одна

сторона вопроса. Тынянов довольно быстро двигался к тому, что потом стал делать Яacobсон, то есть в наших терминах — от формализма к структурализму. Это была общая тенденция. И Шкловский — помимо того, что его вынудили изменить свою позицию, — все-таки сам тоже очень переменялся. Я помню, что как-то собравшимся у Лили Брик я читал свои стихи, и Шкловский на мои стихи (такого более формального авангардного свойства) очень вяло реагировал. А поблагодарил меня за стихотворение сугубо лирическое, которое как раз не было такой авангардной формы.

Так что, по-моему, Шкловский тоже ушел довольно далеко от чисто формального подхода не только по каким-то внешним конъюнктурным причинам. Мне кажется, что критика Бахтина была естественным указанием на «болезнь роста». Бахтин был для всех нас очень существенный; он был для нас замечателен тем, что оставался независимым человеком. Я бы сказал, что он был вне этого времени и не пытался особенно к нему приспособиться, он был даже врагом этого времени. То, что его арестовали, было в какой-то степени случайно, потому что в тогдашних кружках было много людей, которые ненавидели советскую власть.

Политика — вещь грязная, и любые негативные и позитивные отношения к конкретной власти и политической партии — как-то унизительны для человека. Его втягивают, низводят куда-то в такой мир, который далек от подлинного. Бахтин был удивителен в этом смысле. Очень законченный и последовательный человек. Я помню, что мы в первый разговор с ним заговорили о Шостаковиче. Жена Бахтина нашла, что я чем-то похож на их старого друга Солертинского, музыковеда, который был другом Шостаковича. И они стали мне что-то говорить о Солертинском, но заодно я им говорю: «Вот, для нашего поколения Шостакович так много значит, потому что он выразил эти чувства времени». Бахтин тут подхватил: «Да, да. Именно поэтому я его совершенно не принял». То есть для Бахтина близость к этой сфере — сфере времени — была чужой. Его можно с чем угодно сопоставлять, но он был далек не от авангардов в художественном смысле. Он был далек от этого века. И этим, конечно, он был

очень притягателен. У него ведь есть такой термин — «большое время». Я думаю, что он находился сам в большом времени.

Мне посчастливилось, я знал многих замечательных людей. Но, пожалуй, вот такого редкостного отсутствия советскости, кажется, я не встречал ни у кого. Как-то из Бразилии приехал один профессор ко мне на дачу в Переделкине. Мы разговорились с ним (это было время мировой славы Бахтина), я говорю: «А вы знаете, Бахтин как раз здесь в Доме творчества. Он не любит, чтоб к нему заходили. Но я могу вас проводить к нему». Мы пришли к Бахтину, и первое слово, которое сказал этот профессор, было: «Профессор Бахтин, как я счастлив, что я имею возможность встретиться с вами». Бахтин улыбнулся, но совершенно серьезно сказал: «Я не профессор, я кандидат наук...» Он не любил неточности, и это не было сказано из-за обиды, просто он хотел пояснить, что на самом деле происходит.

— Вы очень много писали об Эйзенштейне. Мне кажется, что он играет очень важную роль в становлении вашего мировоззрения. Почему?

— Я думаю, главным образом потому, что я в нем вижу как бы образ эстетических вкусов, пристрастий, наклонностей поколения моего отца, иногда почти тождественного с моим отцом, но не со мною самим! Я формировался под большим влиянием отца, как я уже сказал. Но, вы знаете, всегда есть такие противопоставления отца и сына. Возможно, я бы мог написать и аналогичную книгу о своем отце. Но все-таки легче написать ее об Эйзенштейне. То, что читаю об Эйзенштейне, я слышал почти буквально от своего отца. То есть степень ценностного отбора у выдающихся людей одного поколения в одной стране оказывается почти тождественна. Мне было крайне важно понять, что в этом есть и социальная сторона отбора, что позиция по отношению к обществу, государству, русской истории и т. д. тоже оказывалась очень сходной. Для этого поколения была характерна некоторая удивительная комбинация независимости позиций в искусстве

и зависимости в социальной сфере. Был целый ряд фундаментальных проблем, которые стояли перед ними и которые и отец, и Эйзенштейн решали одинаково — как, скажем, во что бы то ни стало добиться реализации себя как художника, даже если надо пойти при этом на существенные компромиссы с государством, на что наше поколение уже не шло. Мы готовы были скорее пожертвовать своим искусством или наукой, но не пойти на компромисс. Для них это было исключено. В той же мере это относится и к проблеме моего отношения к формализму. На примере Эйзенштейна я пытался как-то разобраться с наследием предшествующего поколения, хотел понять, что в этом наследии я принимаю, что мне было близко и от чего я отхожу.

— *Сергей Аверинцев в своей известной статье о символе писал: «В нем есть теплота сплывающей тайны». Если мы воспользуемся этой метафорой, в чем заключалась теплота сплывающей тайны вашего поколения в конце 1950—1960-х годов, в 1970-е годы?*

— Я думаю, что именно приверженность к культуре. Кстати, то, что мне было безусловно близко, я видел и в моем отце. Приверженность к культуре в эпоху, когда совсем не культура становилась основной ценностью... Я говорил о своем отношении к политике — даже и политические ценности мне представляются гораздо менее существенными, чем культурные. Я мог заниматься политикой, просто был вынужден заниматься ею, но это для меня никогда не могло стать основным в жизни. Думаю, что это валидно и для всего нашего поколения. Основным в жизни была необходимость жить культурным наследием и вопрос, как его продолжать, чтобы оно не пропало. Не его защита, а как раз продолжение, заполнение пустоты. Важно было, чтобы не образовалась пустота в нас и вокруг нас.

— *В этой связи и мой вопрос о произношении вашей фамилии. В современном русском она произносится как Иванóв, но вы — Вячеслав Ива́нов. Может быть, вы*

произносите так свою фамилию потому, что перекладываете мост к поэту и мыслителю Вячеславу Ива́нову, то есть в этом тоже сказывается приверженность к культуре?

— Вы знаете, отчасти да. По данным книги «Русские фамилии» Унбегауна до конца XIX века произношение было все-таки Ива́нов, а Ивано́в — это перенос ударения с начала XX века. По-видимому, чеховский герой еще был Ива́нов. Это перенос типа «профессоры» и «профессора». Конечное ударение в ряде форм в начале XX века очень быстро распространяется, это мода или эпидемия. В нашей семье и это опять-таки отец принес. Он из Сибири, а там это ударение сохранялось дольше. Когда отец уехал из Сибири в 1921 году, там еще все были Ива́новы. Когда он имел дело с каким-нибудь бюрократом, он все ударения менял — говорил не Всеволод Ива́нов, а Всеволо́д Ивано́в, то есть он тогда сам подчеркивал это ударение. В интеллигентской среде первое ударение сохранилось по отношению к известным людям, например художник Александр Ива́нов и поэт Вячеслав Ива́нов. Иванов-Разумник безусловно был Ива́нов-Разумник, но от людей часто слышал Ивано́в-Разумник; то, что он был эсер, участвовал уже в 1917 году в политике, уже превращает его в Ивано́ва.

— Большую энергию вы вкладывали в исследования славянской мифологии, славянской культуры. Как вы думаете, существует ли такая целостность, так сказать — «лик культуры», который бы назывался славянской культурой с точки зрения типологии культуры? Как вы бы определили славянскую культуру как таковую?

— Это, конечно, проблема времени и эпохи, то есть она тоже меняется. Вот мы с вами славяне, но едва ли можно сказать, что мы изначально, с детства, усвоили ту культуру, которую мы сейчас называем славянской. Какие-то следы, тем не менее, во всех нас есть. Я больше всего занимался славянским язычеством, а также славянской народной словесностью и ее формами.

Славянская культура была довольно высокой и гораздо более изощренной и сложной, чем обычно это выглядит. Понятно, что сохраняются дольше всего такие сравнительно простые, почти примитивные образы — Леший, Домовой, то есть то, что мы называем «низшей мифологией». Легко подумать, что только это и было, такие вот относительно простые понятия, которые есть почти у всех народов мира (дух леса и т. д.). Но оказывается, что все было гораздо сложнее. Одна из таких очень интересных черт у славян, которой мы занимались (я потом стал заниматься типологией этого), — это дуализм, то есть деление всего мира пополам. В болгарской народной вере эта черта выступает очень четко. Славянский дуализм настолько похож на иранский, есть так много языковых проявлений этого сходства, что я бы сказал, что в большой степени славянский дуализм — результат взаимодействия с раннеиранской религией. Если мы хотим поставить кого-то рядом со славянами, то скорее всего это будут иранцы до Заратустры. Их дуалистическая религия исключительно похожа на славянскую. У меня даже есть впечатление, что это сходство указывает на наличие некоей иранизации...

Иногда говорят, что праславяне очень сильно контактировали с восточными иранцами. В этом мы, славяне, не одиноки. Сейчас очень много свидетельств того, что иранцы были очень могущественной частью индоевропейцев и далеко еще распространились. Похоже, что была такая мощная иранская империя, которая оставила следы и у армян, и у славян, и у некоторых других индоевропейских и неиндоевропейских (в частности кавказских) народов. Мы входили в такую большую группу, может быть, племенной союз. Это продолжалось долго. Возьмем, например, аваров. Авары ведь народ тоже иранского происхождения, которые потом были тюркизированны. То, что авары вместе с иранским народом и со славянами были когда-то на территории Болгарии, думаю, оказалось продолжением той же самой ситуации. Вот почему, когда мы говорим об оригинальности славян, мы должны иметь в виду, что эта оригинальность интересна еще тем, что она включает древних славян в зону древних цивилизаций... Поэтому и нашим далеким предкам уда-

лось так удачно перевести священные тексты с греческого: потому, что уже существовала довольно развитая религия.

Я не думаю, что язычество, которое мы с Топоровым описываем, является примитивной религией. Я склонен думать, что это цивилизация по существу. По языковым данным мы можем ее реконструировать как цивилизацию и восстановить даже целые комбинации слов, а не лишь отдельные слова. Комбинация слов описывает достаточно сложную жизнь, а этим было подготовлено принятие христианства. Можно просто лингвистически показать, что такие слова, как «святой», скажем, или «спаситель» уже в предыдущей религии были нагружены некоторыми важными религиозными и философскими значениями — и поэтому нам столь легко удавались переводы с греческого.

— Это, однако, касается праславянской культуры... Возможно ли говорить сейчас о единой славянской культуре, а не просто об общих корнях разных славянских культур?

— Это очень сложный и, конечно, спорный вопрос. Я довольно много разговаривал на эту тему с Романом Осиповичем Якобсоном. Он давал положительный ответ на этот вопрос. У него была идея, что вот то, о чем я сейчас говорю, что это праславянское наследие продолжается в каждой славянской литературе, и мы можем сравнивать современные славянские литературы не только потому, что у них общие языковые и литературные источники, но и потому, что это наследие передается. В языке оно, конечно, передается легче. Если читаем — понимаем легко, если говорим — не так легко. Это языковая сторона вопроса, а вот насколько мы сохраняем единство духовное и мировоззренческое?...

Я помню, Тарановский, который был близким другом Якобсона и во многом его учеником, вот в этом не мог с ним согласиться, они при мне спорили на эту тему. Тарановскому казалось, что это уже на грани мистики... В конце концов у славянофилов всегда есть вера. Можно ве-

рить в то, что славянские ручьи сольются в море. Уж какое оно будет, трудно сказать. Тем не менее думаю, что какие-то сходства есть.

Хотя то, что потом судьба каждого из этих племен сложилась отдельно, тоже ведь важно. Скажем, для России во времени Древней Руси очень существенно было взаимодействие с кочевыми народами, но оно было и у некоторых других славян. Потом было то, что называется татаро-монгольским игом (то, что Лев Гумилев не склонен считать игом; Н. Трубецкой тоже считал, что наследие Чингисхана — благодетельное с евразийской точки зрения). Совершенно несомненно, что многие черты организации в русском государстве, армии, даже в русской экономике до сих пор несут следы азиатского влияния. Это, разумеется, отличие от состояния вещей у других славян. Если мы сравним русских с поляками, то увидим разницу не только в том, что они исповедуют разные виды христианства (что, конечно, тоже существенно), но и в том, что Польша все-таки не имела такого тяжелого периода в своей истории. Кроме нашего общего наследия, все-таки надо учитывать и то, что у каждого из народов потом было отдельно, и то, как сложились взаимоотношения с Европой. Россия после Петра в очень большой степени европеизировалась. Я думаю, что степень космополитизма у большой империи всегда очень большая, поэтому русская империя теряла свою непосредственную связь с российским началом. В этом смысле теперешние продолжатели славянофилов в немножко двойственном положении, потому что они обычно люди имперской идеи. Имперская идея, однако, по своему существу космополитическая, поэтому тут есть известное противоречие.

— Какую роль, по-вашему, играет здесь слово «менталитет»? Можно ли утверждать, к примеру, что болгары и русские являются представителями одной и той же «культурной души», но что у них разный менталитет?

— Это довольно-таки сложная проблема, потому что когда мы говорим о менталитете, мы все-таки имеем в ви-

ду что-то усредненное, а культура в некотором отношении против усреднения. Тут налицо проблема соотношения культуры и цивилизации. Для цивилизации менталитет, то есть некоторая средняя норма отношения к миру, к природе, к тому, что вокруг нас, — все это очень важно. Для отдельных индивидов это, однако, не так.

Вы знаете, по поводу русских — больших людей русской культуры — я думал о том, что у них есть одна общая черта... Я бы ее назвал анархизмом. Я имею в виду не только Бакунина и Кропоткина — про них это очевидно. Но возьмем Льва Толстого. Конечно, он христианский мыслитель, у него свое отношение к Христу. Но если вы посмотрите на его отношение к государству, к суду, то увидите те же черты анархизма. Возьмите то, что Шкловский любил цитировать в формалистических работах как пример острашения: люди идут в оперу. И что они там видят? Какие-то холсты, что-то намалевано, исполнители ходят перед ними и что-то поют — и непонятно, зачем все это. Это как раз точка зрения анархиста. Он по существу отрицает культурные стремления вообще. Я думаю, что в каком-то смысле анархизм — это русский менталитет. Это очень трудная часть русской души, потому что анархизм не конструктивен. Анархизм — это стремление не только отвергнуть, но даже и разрушить все вокруг. Я не думаю, что это общеславянская черта. При общении с очень талантливыми польскими писателями и литераторами я почувствовал (и это, по-моему, тоже менталитет) очень негативные оценки будущего, что связано с национальной мессианской утопией.

Пушкин очень хорошо это выразил: «От ямщика до первого поэта / Мы все поем уныло. Грустный вой — / Песнь русская...» Если вы читаете сейчас ежедневные газеты, то ощущаете среднестатистическую установку русского читателя, его желание прочитать, что все очень плохо и в ближайшее время станет хуже.

— Вы очень много писали в соавторстве с Владимиром Николаевичем Топоровым. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали его портрет: каким вы его видите, в чем разница между вами в подходах и т. д. Как возможно сомыслие?

— Я думаю, что Топоров замечателен не только своими большими личными достоинствами, мудростью даже... Он замечателен и как чрезвычайный образец характерного русского человека. Мне кажется, что его просто можно изучать. Он не то что средний, но характерный русский тип. Он человек очень дельный, по-своему очень практичный. Хотя вместе с тем и вполне по-особому мудрый человек — он понимает, что интересно, что важно, а что нет в мире... Когда-то о нем очень хорошо сказали: он человек совсем другого культурного круга (кажется, это сказал Александр Реформатский). Мы много общались в те годы — с Топоровым, с Реформатским. Как-то для меня Владимир Николаевич представлялся примером очень умного крестьянина. Это тот тип, который на Руси не то чтобы перевелся, но его трудно уже встретить, потому что ведь старая деревня погибла. Это именно тот тип, которому гораздо легче было бы сохраниться в деревнях, в общении с природой, а не в условиях городского бюрократического общества. Поэтому таких людей сейчас вы мало встретите, а раньше в России их было гораздо больше.

Из-за этого отношение Топорова к религии очень основательно. Мы с ним с первых курсов университета стали близкими друзьями... С января 1947 года мы подружились. Мы вместе думали, читали одинаковые книги, вместе проходили через все трудности того тяжелого времени, но хорошим был наш факультет и нам вместе было хорошо. Я думаю, общность методов выработалась благодаря тому, что мы вместе обдумывали, как трансформировался структурализм на русской почве и возникла семиотика, и связанные с этим идеи. Потом мы продолжали всему этому учиться и обдумывать все вместе. Это была такая среда, где вместе переплавлялись разные науки... Но поскольку мы все это делали сообща, то я думаю, что тут проблема была не только нашего с Топоровым совместного обдумывания, но даже всей нашей группы. Из этой группы мы выделялись с ним вместе ввиду нашей особой близости. Это было действительно органично — то, что мы на многие вещи смотрели одинаково. Разница была в том, что он или я могли что-то лучше знать в каких-то конкретных областях. Но в плане общей методологии мы смотрели на все очень близко.

— *Мысль выражает себя через язык. А мыслит ли сам язык?*

— Это очень серьезный вопрос. Я думаю, что в какой-то степени — да. Язык подсказывает некоторые мысли. Это очень чувствуется в литературе. Бродский об этом очень любил говорить, это одна из его любимых тем. Но я это слышал и от Пастернака. Пастернак как-то мне говорил, что когда он читает Верлена, у него впечатление, что это настоящая поэзия, потому что «как будто французская мысль сама думает».

Пастернак не считал, что «я» должно себя выражать в поэзии. Я выражаю себя не с помощью обозначения себя как «я». «Я» как бы на заднем плане, а на переднем плане язык. В поэзии это определено так, в какой-то степени это так и в науке. Это относится и к богословию, и к тем видам науки, которые неотделимы от языковой оболочки и которые нельзя перевести в неязыковую математическую формулу (а математическая наука как бы подымается над языковым уровнем). То есть большое количество гуманитарных наук сильно зависит от языка.

— *В этой связи: как возможен перевод?*

— Я много занимался этим, сам много переводил стихов. Я рассказывал о том, почему стал заниматься филологией. Одним из ранних моих занятий еще в школе был перевод. Я знаю про себя, что разные люди по-разному к этому подходят. Для того чтобы перевести стихотворение, его надо знать наизусть, его нужно довольно долго в себе носить. Иногда строки удаются, а все стихотворение в целом тем не менее не склеивается. Очень трудно найти точный эквивалент того, что ты сам плохо чувствуешь. Вот почему хорошо переводить те куски, которые вполне отвечают самому тебе, и как бы проваливаешься там, где ты сам это не очень ощущаешь.

Я думаю, что перевод — это все-таки некая тайна внутри нас. Это чудо, конечно. Во многом, что мы делаем, есть нечто удивительное. Я всегда удивляюсь, почему люди ищут снежного человека или пришельцев из космоса —

ведь многое, что нам кажется обычным — то, что человек может писать стихи, или доказывать теорему, или сочинять симфонию и т. д., — это более удивительно, чем пришельцы из космоса... Вот нас в 1960-е годы объединяло именно постоянное ощущение того, что культура — удивительная вещь, что это чудо, с которым мы живем.

— Один из самых популярных фрагментов Гераклита — это тот, где говорится, что у логоса есть свойство самовозрастания. Как самовозрастает культура? А личность культурного субъекта?

— Я говорил, что культура не любит такие вещи, как империя. То, что русская империя существовала рядом с русской культурой, это парадокс. Отсюда, наверное, и анархизм Толстого. Толстому не нужно было еще иметь при себе императора...

Но это очень волнующая проблема — волнующая вот сейчас, в конце века. Проблема этого возрастания и в личности, и в логосе вне ее, для меня как-то очевиднее, скажем, в начале XX века, чем сейчас. В конце XX века какие-то нелады происходят с культурой. Ответ на ваш вопрос — он разный для разных эпох. Гераклит жил в очень хорошее время, когда греки видели этот возрастающий логос в самих себе и их культура и философия отвечали тому, о чем он писал. Так что его точка зрения понятна изнутри. Я боюсь, что нам никто не дал такого разрешения, что какие бы глупости мы ни стали делать, а все равно логос будет в порядке.

Это как экология. Мы можем испортить среду, в которой логос произрастает. У Блока есть замечательная фраза в его последних вещах. Он говорит, что задача состоит в том, чтобы «не замути́ть источники гармонии». Я боюсь, что сейчас очень многие замутили источники гармонии. Большая опасность — поддаться соблазну и говорить, что в следующем поколении логоса меньше, чем в нашем поколении. Но тут дело даже не в разнице поколений. Сравните, например, страны. Американцы, японцы очень на эту тему волнуются — что-то происходит, страна живет другими интересами и ценностями, в которые все

то, о чем мы говорим, не вписывается. А как тогда быть? А что будет дальше? Если мы ведем себя не слишком плохо, если мы не мешаем тому, что в каждом из нас, и тому, что есть в каждом ребенке, — вот тогда чудо (о чем я упоминал при переводе поэзии), это чудо может произойти.

Но у меня (может быть потому, что я живу в стране, где анархия — мать порядка) есть много претензий к системе образования. Мне представляется, что мы пропускаем время. Каждый ребенок может очень рано начать и рано выявить что-то важное в себе (вот эта тривиальная мысль, что в каждом ребенке есть задатки гениальности). Почему мы эту гениальность почти не видим во взрослых? В основном это вина нашей системы воспитания и образования. С другой стороны — если каждый ребенок будет Моцартом, очень трудно управлять таким собранием Моцартов, да? Но все-таки это лучше, чем не иметь ни одного Моцарта, как сейчас... Я уверен, что университет надо кончать к шестнадцати годам, а дальше заниматься уже творческой деятельностью. И это вполне возможно... Осторожно скажем так: наша европейская система образования не способствует реализации гераклитовского принципа, который теоретически существует, но реализуется в очень малом количестве людей. И не потому, что этих людей мало, а потому, что мы мало делаем для того, чтобы их стало много, чтобы их было больше.

— И в конце вопрос личного характера: мы сейчас сидим между чемоданами. Вы несколько лет назад уехали в Америку преподавать. С какими «чемоданами» вы поехали туда и изменила ли что-то в вашем понимании культуры перемена образа жизни?

— Я получаю очень много приглашений поехать за границу. Меня 30 лет никуда не пускали. В первый раз я был на международном конгрессе в 1957 году, и следующий раз мне дали разрешение поехать за границу в 1987-м. Сначала я не хотел особенно никуда ехать. Просто нужно было ответить на предложения, которые знакомые или друзья посылали... Кроме того, с нашими реформами пришло много обязанностей... Но все это было между Америкой и Россией.

Потом я стал читать лекции в Лос-Анджелесе, и хотя здесь остаются большие обязанности, все равно приходится туда наезжать надолго. Это может иметь свои преимущества — если мне надоедает здесь, я могу «отдохнуть» там.

До поездки туда я очень критически относился именно к Америке. В этом смысле я убедился, что многое из моей критики подтвердилось. Но кроме того некоторый обман, наверное, был связан с тем, что тот же Роман Якобсон, с которым я был близок, и некоторые другие жившие в Америке выдающиеся люди как-то подавали надежду на то, что Америка лучше и интереснее, чем можно ее себе представить. Это, однако, было другое поколение, а поколения везде одинаково меняются. Так что критическая сторона по отношению к Америке у меня скорее усилилась. Я не могу сказать, что мой образ жизни там значительно отличается от моего образа жизни здесь. Здесь больше дел, более интенсивная жизнь. В Америке спокойнее, там я никому особенно не нужен и могу спокойно заниматься...

В каждой из этих культур есть свои существенные положительные черты, но есть и много отрицательных. То, что мне нравится в Америке, так это то, что я называю «инженерным подходом». Период типа того, что мы здесь переживаем, в Америке был гораздо короче... Американцы находят решение довольно быстро — они находят конструктивный способ остановить то, что делается. Я думаю, что это разница менталитета.

Здесь я считаю себя уместным и нужным... В каком-то смысле я считаю, что советская власть еще не кончилась. Надо отличать коммунизм как идеологию от советской власти. Так или иначе, идеология может меняться, а советская власть остается. Более того, советская власть, начиная с Ленина, была очень хитрой системой — сохраниться у власти любой ценой, переменив все плюсы на минусы и т. д.

Все то, что происходит с нами, все время меняется и тем не менее остается прежним.

— В чем стержень личности, работающей в культуре?

— Наверное, в этой самой культуре. Я упомянул точку зрения Пастернака, она на меня оказала большое влия-

ние, как и вообще личность Пастернака и его отношение к культуре: что сама по себе личность и не так важна. Существенно именно то, как она соотносится с культурой. Культура вас развивает, и это гораздо более серьезное занятие, чем все ваши собственные личные волнения и проблемы. И вы начинаете жить преимущественно тем, что в вас делает культура, а не тем, что именно вы думаете и чувствуете.

3 сентября 1998 года, Москва

Литература

Димитров Е. Личност и култура / Разговор с Вячеслав В. Иванов // Литературен вестник. 2001. № 2. С. 3, 6–7.

Димитров Е. «Като на изповед...»: руски беседи. София: Изток-Запад, 2016.

Димитров Э. Истина — в собеседнике. Филология и поэзия. Ответы на анкету М. Гаспарова и С. Аверинцева // Вопросы литературы. 2017. № 2. С. 7–29.

MESEMBRIA. Българо-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев. Изданието е подготвено от Емил Димитров. София: Славика, 1999.

References

Dimitrov E. Personality and Culture / An Interview with Vyacheslav V. Ivanov // The Literary Bulletin. 2001. Issue 2. P. 3, 6–7. (In Bulgarian.)

Dimitrov E. 'Nothing but Truth...': Russian Conversations. Sofia: Iztok-Zapad, 2016. (In Bulgarian.)

Dimitrov E. Truth is in the Conversation. Philology and Poetry. Interviews with S. Averintsev and M. Gasparov // Voprosy literatury. 2017. Issue 2. P. 7–29. (In Russ.)

MESEMBRIA. Bulgarian-Russian Collection in Honour of Sergey Averintsev / Ed. Emil Dimitrov. Sofia: Slavika, 1999. (In Russian and Bulgarian.)